

В ПОИСКАХ СУЩНОСТИ ЯЗЫКА
// Семиотика. - М.: Радуга, 1983. С.102-117.

«В человеческой речи разные звуки имеют разные значения». Отсюда Леонард Блумфилд в своей известной книге «Язык» (1933 г.) делает вывод, что «изучать это соответствие определенных звуков определенным значениям и значит изучать язык»^{1[1]}. Еще столетием раньше Вильгельм фон Гумбольдт учил, что «существует очевидная связь между звуком и значением, которая, однако, в редких случаях поддаваясь точному объяснению, обычно остается неясной». Проблема такой соотнесенности и связи всегда была кардинальной в уже немолодой науке о языке. Несколько этот факт был тем не менее временно предан забвению языковедами недавнего прошлого, показывает реакция на интерпретацию знака, и в частности языкового знака, как неразложимого единства означающего и означаемого у Фердинанда де Соссюра; этой интерпретации многократно воздавалась хвала за ее изумительную новизну, хотя давняя концепция вместе с терминологией была целиком перенесена из теории стоиков, существующей уже двадцать столетий. В учении стоиков знак (*sēmeîon*) рассматривался как сущность, образуемая отношением означающего (*sēmaînon*) и означаемого (*sēmatomenon*). Первое определялось как «воспринимаемое» (*aistheton*), а второе — как «понимаемое» (*noeton*) или, если выражаться более лингвистично, «переводимое». Кроме того, референция знака была четко отграничена от значения с помощью термина *tynkhânon* (схватываемое). Исследования стоиков в области знакообозначения (*semeiôsis*) были усвоены и получили дальнейшее развитие в трудах Августина; при этом использовались латинизированные термины, в частности *signum* (знак), который включал в себя и *signans*, и *signatum*. Между прочим, эта пара коррелятивных понятий и наименований была введена Соссюром лишь в середине его курса общей лингвистики, возможно, не без влияния «Ноологии» Х. Гомперца (1908 г.). Эта доктрина красной нитью проходит через средневековую философию языка с ее глубиной и разнообразием подходов. Двойственный характер и вытекающее из него, по терминологии Оккама, «двойное познание» любого знака были глубоко усвоены научной мыслью средневековья.

Возможно, самым изобретательным и разносторонним из американских мыслителей был Чарльз Сандерс Пирс (1839—1914 гг.), — настолько великий, что ни в одном университете не нашлось для него места. Первая попытка классификации знаков была сделана Пирсом в его проницательной работе «О новом списке категорий», которая вышла в «Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences» (1867 г.); спустя сорок лет, подводя итоги «изучения природы знаков, которому он посвятил свою жизнь», Пирс

^{1[1]} Блумфилд Л. Язык. М.: Прогресс, 1968, с. 42. Прим. ред.

отмечал: «Насколько мне известно, я являюсь пионером или, скорее, даже проводником в деле прояснения и обнаружения того, что я называю семиотикой, т. е. в учении о сущности и основных видах знако-обозначения; я считаю, что для первопроходца это поле деятельности слишком обширно, а работа слишком велика». Пирс отчетливо сознавал несостоятельность общетеоретических предпосылок в исследованиях своих современников. Само название его науки о знаках восходит к античному *sèmeiōtike*; Пирс ценил и широко использовал опыт античных и средневековых логиков, «мыслителей высшего класса», сурово осуждая столь обычное «варварское исступление» перед «изумительной проницательностью схоластов». В 1903 г. он выражал твердое убеждение в том, что если бы ранее «учение о знаках» не было предано забвению и если бы оно было продолжено со всей силой ума и страсти, то к началу двадцатого столетия такие жизненно важные специальные науки, как, например, языкознание, уже находились бы «наверняка в более развитом состоянии, чем то, которого они обещают достигнуть в самом лучшем случае к концу 1950-го года».

С конца прошлого века необходимость подобной научной дисциплины горячо отстаивал Соссюр. В свою очередь отталкиваясь от греков, он назвал ее семиологией и ожидал от этой отрасли знаний, что она прояснит сущность знаков и законы, управляющие ими.

Он полагал, что лингвистика должна стать частью этой общей науки и что она определит, какие свойства выделяют язык в отдельную систему из общей совокупности «семиологических фактов». Было бы интересно выяснить, есть ли какая-нибудь генетическая связь между работами обоих ученых в области сравнительного исследования знаковых систем или же это простое совпадение.

Полувековая работа Пирса по созданию общих основ семиотики имеет эпохальное значение, и если бы работы Пирса не остались большей частью неопубликованными вплоть до тридцатых годов или если бы, по меньшей мере, его опубликованные работы были известны языковедам, они, несомненно, оказали бы ни с чем не сравнимое влияние на развитие лингвистической теории в мировом масштабе.

Пирс также проводит резкое различие между «материальными качествами» — означающим любого знака и его «непосредственной интерпретацией», т. е. означаемым. Знаки (или, по терминологии Пирса, репрезентамены (*representamina*)) обнаруживают три основных вида знакообозначения, три различных «репрезентативных свойства», которые основаны на разных взаимоотношениях между означающим и означаемым. Это различие позволяет Пирсу выделить три основных типа знаков:

1) Действие *иконического* знака основано на фактическом подобии означающего и означаемого, например рисунка какого-то животного и самого животного; первое заменяет второе «просто потому, что оно на него похоже».

2) Действие *индекса* основано на фактической, реально существующей смежности означающего и означаемого; «с точки зрения психологии,

действие индекса зависит от ассоциации по смежности», например, дым есть индекс огня, и подтвержденное пословицей знание того, что «нет дыма без огня», позволяет человеку, интерпретирующему появление дыма, сделать заключение о наличии огня, безотносительно к тому, был или не был огонь зажжен намеренно, чтобы привлечь чье-то внимание; то, что обнаружил Робинзон Крузо, было индексом: его означающим был отпечаток ноги на песке, а установленным по нему означаемым — присутствие на этом острове человека; по Пирсу, индексом является ускорение пульса как возможный симптом жара, и в этих случаях его семиотика фактически сливаются с исследованием симптомов болезней в медицине, которое называют семиотикой, семиологией или симптоматологией.

3) Действие *символа* основано главным образом на установленной по соглашению, усвоенной смежности означающего и означаемого. Сущность этой связи «состоит в том, что она является правилом», и не зависит от наличия или отсутствия какого-либо сходства или физической смежности. При интерпретации любого данного символа знание этого конвенционального правила обязательно, и знак получает действительную интерпретацию только потому и просто потому, что известно это правило. Первоначально слово «символ» употреблялось в сходном смысле также Соссюром и его учениками, но позже он возражал против употребления этого термина, потому что в традиционном понимании последнего предполагается некоторая естественная связь между означающим и означаемым (например, весы как символ правосудия), и в заметках Соссюра было предложено для условных знаков, входящих в условную знаковую систему, название *сема*, в то время как Пирс использовал термин «сема» для особой, совершенно отличной цели. Достаточно сопоставить употребление Пирсом термина «символ» с различными значениями слова символизм, чтобы осознать, что здесь имеется опасность досадных двусмысленностей; но за неимением лучшего мы вынуждены сохранить термин, введенный Пирсом.

Рассмотренные семиотические соображения вновь вызывают к жизни вопрос, который с проницательностью обсуждался в «Кратиле», замечательном диалоге Платона: закрепляет ли язык форму за содержанием «по естеству» (*physei*), как это утверждает главный герой диалога, или «по соглашению» (*thései*), как это утверждается в контраргументах Гермогена. Примирающий обе стороны Сократ склонен в диалоге Платона согласиться, что презентация через подобие преобладает над использованием произвольных знаков, но, несмотря на привлекательную силу подобия, он чувствует себя обязанным признать дополнительный фактор — условность, обычай, привычку.

Среди ученых, которые в своей трактовке этого вопроса следовали по стопам платоновского Гермогена, важное место принадлежит йельскому языковеду Дуайту Уитни (1827—1894 гг.), который выдвинул тезис о языке как об общественном учреждении. В фундаментальных трудах Уитни, относящихся к шестидесятым и семидесятым годам XIX века, язык

определялся как система произвольных и условных знаков (*epitykhonta* и *synthēmata* Платона). Это учение было заимствовано и развито Ф. де Соссюром и вошло в посмертное издание его «Курса общей лингвистики» (1916 г.), осуществленное его учениками Ш. Балли и А. Сеше. Учитель провозглашает: «В существенном моменте, как нам кажется, американский лингвист прав: язык — это соглашение; природа знака, о котором принимается соглашение, остается безразличной». Произвольность выдвигается Соссюром в качестве первого из двух основных принципов, определяющих природу языкового знака: «Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна»^{2[2]}. В комментариях подчеркивается, что никто не опроверг этого принципа, но «часто легче обнаружить истину, чем приписать ей должное место».

Сформулированный принцип был главенствующим во всей науке о языке (*la langue* в сассюровском смысле этого термина, т. е. языковой код); последствия его неисчислимы. В согласии с Балли и Сеше, А. Мейе и Ж. Вандриес также подчеркивали «отсутствие связи между значением и звуком», и Блумфилд вторил тому же принципу: «Языковые формы являются произвольными».

Само собой разумеется, что согласие с сассюровской догмой произвольности языкового знака было далеко не единодушным. Так, Отто Есперсен отмечал (1916 г.), что роль произвольности в языке слишком преувеличена и что ни Уитни, ни Соссюру не удалось решить проблему взаимоотношения между звуком и значением. Отклики Ж. Дамуретта, Э. Пишона и Д. Л. Болинджера были озаглавлены одинаково: «Знак не произволен» («Le signe n'est pas arbitraire» (1927 г.), «The sign is not arbitrary» (1949 г.)). Э. Бенвенист в своей весьма своевременной статье «Природа языкового знака» («Nature de signe linguistique», 1939 г.) раскрыл тот решающий факт, что только для беспристрастного и стороннего наблюдателя связь между означающим и означаемым является чистой случайностью, в то время как для носителя данного языка эта связь превращается в необходимость^{3[3]}.

Своим основным требованием внутреннего лингвистического анализа любой синхронной (идеосинхронической) системы Соссюр с очевидностью лишает силы ссылку на различия звуков и значений во времени и пространстве, которая является аргументом в пользу произвольной связи между обоими составляющими языкового знака. Швейцарская крестьянка, говорившая по-немецки, своим пресловутым вопросом, почему ее франкоязычные односельчане называют сыр *fromage*, — *Käse ist doch viel natürlicher!* «Ведь *Käse* подходит гораздо лучше!», обнаружила отношение к проблеме, которая гораздо больше соответствует точке зрения Соссюра, чем утверждения, что каждое слово — произвольный знак, вместо которого мог бы использоваться для той же цели любой другой знак. Но существует ли эта

^{2[2]} Соссюр Ф. де. Труды по языкоznанию. М.: Прогресс, 1977, с. 100. — Прим. ред.

^{3[3]} См.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974, гл. VI. — Прим. ред.

естественная необходимость в силу одной только привычки? Действуют ли языковые знаки — поскольку они являются символами — «только благодаря существующей привычке», связывающей их означаемое с означающим?

Одной из важнейших черт семиотической классификации Пирса является тонкое осознание того, что различие трех основных классов знаков — это лишь различие в относительной иерархии. В основе разделения знаков на иконические знаки, индексы и символы лежит не наличие или отсутствие подобия или смежности между означающим и означаемым, равно как и не исключительно фактический или исключительно условный, привычный характер связи между двумя составляющими, а лишь преобладание одного из этих факторов над другими. Так, ученый говорит об «иконических знаках, в которых сходство поддерживается конвенциональными правилами»; можно припомнить разные правила построения перспективы, которые зрителю нужно усвоить, чтобы воспринимать произведения несходных между собой направлений в живописи; в разных изобразительных кодах имеют разное значение различия в величине фигур; в соответствии с традицией некоторых средневековых школ живописи злодеи, в отличие от других персонажей, последовательно изображались в профиль, а в древнеегипетском искусстве их изображали только анфас. Пирс заявляет, что «было бы трудно, если не невозможно, привести пример абсолютно чистого индекса или пример знака, абсолютно лишенного свойства индекса». Такой типичный индекс, как указующий перст, передает неодинаковое значение в различных культурах; например, у некоторых южноафриканских племен, показывая пальцем на какой-нибудь предмет, его таким образом проклинают. С другой стороны, «в символ всегда включается своего рода индекс», и «без индексов было бы невозможно обозначить, о чем человек говорит».

Интерес Пирса к разным уровням взаимодействия трех выделенных функций во всех трех типах знаков и в особенности пристальное внимание к индексальным и иконическим компонентам языковых знаков непосредственно связаны с его тезисом, утверждающим, что «самые совершенные из знаков» — те, в которых ико-нические, индексальные и символические признаки «смешаны по возможности в равных отношениях». Напротив, настойчивое подчеркивание условности языка Соссюром связано с его утверждением, что «полностью произвольные знаки наиболее пригодны для обеспечения оптимального семиотического процесса».

Индексальные элементы языка обсуждались в нашей работе «Подвижные определители, глагольные категории и русский глагол» («Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb», 1957 г.); попытаемся теперь рассмотреть иконический аспект языковой структуры и дать ответ на вопрос Платона: какого рода подражание (*γνημέσις*) используется языком для соединения означающего с означаемым?

Последовательность глаголов *veni*, *vidi*, *vici* сообщает нам о порядке деяний Цезаря прежде всего и главным образом потому, что последовательность сочиненных форм прошедшего времени используется для воспроизведения хода событий. Временной порядок речевых форм имеет

тенденцию к зеркальному отражению порядка повествуемых событий во времени или по степени важности. Такая последовательность, как «На собрании присутствовали президент и государственный секретарь», гораздо более обычна, чем обратная, потому что первая позиция в паре однородных членов отражает более высокое официальное положение.

Соответствие в порядке между означающим и означаемым находит свое место среди «основных возможных видов знакообозначения», очерченных Пирсом. Пирс выделяет два отличных подкласса иконических знаков: *образы* и *диаграммы*. В образах означающее представляет «простые качества» означаемого, в то время как у диаграмм сходство между означающим и означаемым «касается только отношений их частей». Пирс определяет диаграмму как «репрезентамен, являющийся по преимуществу иконическим знаком отношения, стать каковым ему способствует условность». Примером подобного «иконического знака, отражающего отношения частей означаемого», могут служить прямоугольники разных размеров, которые выражают количественное сравнение производства стали в разных странах. Отношения в означающем соответствуют отношениям в означаемом. В таких типичных диаграммах, как статистические кривые, означающее представляет собой изобразительную аналогию с означаемым в том, что касается отношения их частей. Если в хронологической диаграмме относительный прирост населения обозначен пунктирной линией, а смертность — сплошной, то это, в терминах Пирса, «символические характеристики». Теория диаграмм занимает важное место в семиотических исследованиях Пирса; он отдает должное значительным достоинствам диаграмм, вытекающим из того, что они являются «поистине иконическими знаками, естественно аналогичными обозначаемому предмету». Рассмотрение различных множеств диаграмм приводит Пирса к утверждению, что «каждое алгебраическое уравнение является иконическим знаком, поскольку оно представляет с помощью алгебраических знаков (которые сами иконическими не являются) отношения соответствующих количеств». Любая алгебраическая формула оказывается иконическим знаком в силу правил коммутации, ассоциации и дистрибуции символов. Таким образом, «алгебра — лишь одна из разновидностей диаграммы», а «язык — лишь один из видов алгебры». Пирс отчетливо понимал, что, например, «аранжировка слов в предложении должна служить в качестве иконического знака, чтобы предложение могло быть понято».

Обсуждая грамматические универсалии и почти-универсалии, обнаруженные Дж. Х. Гринбергом, я отмечал, что порядок значимых элементов обнаруживает в силу своего явно иконического характера особенно ясно выраженную склонность к универсальности (см. мой доклад в сб. «Universals of Language» под ред. Дж. Х. Гринберга, 1963 г.). Именно поэтому в условных предложениях всех языков порядок, при котором условие предшествует следствию, является нормальным, первичным, нейтральным, немаркированным. Если почти во всех языках, опять-таки согласно данным Гринберга, в повествовательном предложении с именными

субъектом и объектом первый, как правило, предшествует второму, то этот грамматический процесс с очевидностью отражает иерархию грамматических понятий. Субъект действия, обозначенного предикатом, воспринимается, в терминах Эдуарда Сепира, как «исходный пункт», «производитель действия», в противовес «конечному пункту», «объекту действия». Подлежащее, единственный независимый член предложения, выделяет то, о чем говорится в сообщении. Каков бы ни был истинный ранг деятеля, он с необходимостью выдвигается в героя сообщения, как только берет на себя роль подлежащего. *The subordinate obeys the principal* — «Подчиненный повинуется главному». Вопреки табели о рангах, внимание прежде всего сосредоточивается на подчиненном как на деятеле, а затем переходит на объект — на главного, которому повинуются. Если же, однако, сказуемое выражает вместо «активного» действия действие «пассивное», то роль подлежащего приписывается объекту активного предложения: *The principal is obeyed by the subordinate* «Главный ставится в повиновение подчиненным».

Рассматриваемая иерархия подчеркивается невозможностью опустить подлежащее при факультативности дополнения: *The subordinate obeys, the principal is obeyed*. Как стало ясно после столетий грамматических и логических штудий, предикация столь кардинально отличается от всех других семантических актов, что настойчивые попытки аргументировать уравнивание подлежащего и сказуемого должны быть категорически отвергнуты.

Изучение диаграмм нашло свое дальнейшее развитие в современной теории графов. Языковеда, читающего отличную книгу Ф. Харари, Р. З. Нормана и Д. Картрайта «Структурные модели» (1965 г.), в которой дано детальное описание различных ориентированных графов, невольно поражает подозрительная аналогия между графиками и грамматическими моделями. Изоморфное строение означающего и означаемого обнаруживает в обеих областях похожие средства, которые облегчают точную транспозицию грамматических и особенно синтаксических структур и графы. В строении графов находят близкую аналогию такие свойства языка, как связанность языковых объектов друг с другом, а также с начальной границей цепочки, непосредственное соседство и связь на расстоянии, центральность и периферийность, симметричные и асимметричные отношения, эллипсис отдельных компонентов. Буквальный перевод всей синтаксической системы на язык графов позволит отделить диаграммные, иконические формы отношений от строго условных, символических черт этой системы.

Ярко выраженный диаграммный характер носит не только соединение слов в синтаксические группы, но и соединение морфем в слова. И в синтаксисе, и в морфологии любое отношение частей и целого согласуется с пирсовским определением диаграмм и их иконической природы. Существенный смысловой контраст между корнями как лексическими морфемами и аффиксами как грамматическими морфемами находит свое графическое выражение в их различной позиции в пределах слова: аффиксы,

в особенности словоизменительные суффиксы, в тех языках, где они есть, обычно отличаются от других морфем ограниченным и выборочным использованием фонем и их комбинаций. Так, единственныe согласные, используемые в продуктивных словоизменительных суффиксах английского языка, — это зубной непрерывный и смычный, и их сочетание -st. Из 24 смычных фонем русской консонантной системы только четыре фонемы, явно противопоставленные друг другу, выступают в словоизменительных суффиксах.

Морфология богата примерами знаков, в которых проявляется эквивалентность отношения между означающими и означаемыми. Так, в индоевропейских языках положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных обнаруживают постепенное нарастание числа фонем, например: *high* — *higher* — *highest*, *altus* — *altior* — *altissimus*. Таким способом означающие отражают градацию означаемых по степени качества.

Есть языки, в которых формы множественного числа отличаются от форм единственного дополнительной морфемой, в то время как, по данным Гринберга, нет такого языка, в котором это отношение было бы обратным. Означающее плуральной формы проявляет тенденцию отражать значение количественного превосходства путем удлинения этой формы. Ср. личные формы глагола в единственном числе и соответствующие формы множественного числа с более длинными окончаниями во французском языке: 1 л. *je finis* — *nous finissons*, 2 л. *tu finis* — *vous finissez*, 3 л. *il finit* — *ils finissent*, или в польском языке: 1. *znam* — *znamy*, 2. *znasz* — *znacie*, 3. *zna* — *znaja..* В склонении русских существительных реальные (ненулевые) окончания одного и того же падежа во множественном числе длиннее, чем в единственном. Проследивая по разным славянским языкам различные исторические процессы, которые постоянно создавали это соотношение, можно убедиться, что эти и многие подобные данные лингвистических наблюдений расходятся с утверждением Соссюра, что «в звуковой структуре означающего нет ничего, что носило бы какое-либо сходство со значимостью или значением знака».

Соссюр сам ослабил свой «фундаментальный принцип произвольности», проведя различия между «радикально» и «относительно» произвольными элементами языка. Ко второй из этих категорий он отнес те знаки, которые на синтагматической оси могут быть разложены на составляющие, идентифицируемые на парадигматической оси. Однако и такие, с точки зрения Соссюра «совершенно немотивированные», формы, как франц. *berger* «пастух» (из лат. *berbicarius*), могут поддаваться аналогичному анализу, поскольку -ег ассоциируется с другими случаями употребления этого суффикса деятеля и занимает то же место в других словах того же парадигматического класса, например *vacher* «пастух» и т. д. Более того, при отыскании связи между означающим и означаемым необходимо учитывать не только случаи полной тождественности формы, но и случаи, когда разные аффиксы обладают некоторой общей грамматической функцией и одним постоянным фонологическим признаком. Так, польский инструментальный

падеж в различных окончаниях для разных родов, чисел и частей речи последовательно сохраняет признак назальности либо в последнем согласном, либо в гласном. В русском языке морфонема [м] (представленная двумя фонологическими вариантами — палатализованным и непалатализованным) встречается в окончаниях периферийных падежей (творительного, дательного и предложного) и никогда не встречается в окончаниях падежей других классов. Следовательно, отдельные фонемы или различительные признаки в составе морфем могут служить самостоятельными показателями определенных грамматических категорий. К употреблению таких более мелких единиц, чем морфема, применимо замечание Соссюра о «роли относительной мотивации»: «Сознанию удается ввести принцип порядка и регулярности в некоторые части корпуса знаков».

Соссюр выделил в языке два направления — тенденцию к использованию лексических средств, т. е. немотивированных знаков, и тенденцию к использованию грамматического инструмента, или правил построения. Санскрит оказывается, с его точки зрения, образчиком ультраграмматической, максимально мотивированной системы, тогда как во французском, по сравнению с латынью, Соссюр обнаруживает ту «абсолютную произвольность, которая, в сущности, и является истинным условием языкового знака». Следует отметить, что классификация Соссюра построена только на морфологических критериях, в то время как синтаксис остается фактически в стороне. Эта сверхупрощенная двухполюсная схема существенно улучшена Пирсоном, Сепирем и Уорфом благодаря осмыслению более широких синтаксических проблем. В частности, Бенджамин Уорф, делавший упор на «алгебраическую природу языка», сумел выделить из отдельных предложений «модели структуры предложений» и утверждал, что «в языке аспект структурного моделирования всегда преобладает и осуществляет контроль над лексицией, или аспектом наименования». Таким образом, синтаксические диаграммы в системе языка как знаковой системы важны не менее словаря.

Оставляя грамматику и переходя к строго лексическим проблемам корней и далее неделимых одноморфемных слов (*stoikheia* и *prôta onomata* словаря, как они названы в «Кратиле»), мы должны, вслед за участниками платоновского диалога, задаться вопросом: разумно ли на этом остановиться, прекратив обсуждение внутренней связи между означающим и означаемым, или же нужно без умных уверток «играть игру до конца и отважно исследовать эти вопросы».

Во французском языке слово *ennemi* «враг», как констатировал Соссюр, «ничем не мотивируется»; однако же в выражении *ami et ennemi* «друг и враг», от француза едва ли ускользнет сходство двух сополагаемых рифмующихся слов. Англ, *father*, *mother* и *brother* нельзя разделить на корень и суффикс, но второй слог этих терминов родства воспринимается как своего рода звуковой намек на их семантическую близость. Не существует синхронных правил, которые в английском управляли бы этимологической связью между *ten*, *-teen* и *-ty*, как и между *three*, *thirty* и *third* или *two*, *twelve*,

twenty, twi- и twin, но все же эти формы и сейчас связываются в серии через очевидное парадигматическое родство. Какой бы знаменательной ни была звуковая форма слова eleven, все же улавливается некоторая связь со звуковой структурой числительного twelve, которая поддерживается непосредственным соседством обоих числительных.

Упрощенное применение теории вероятностей могло бы навести нас на мысль о существовании у смежных количественных числительных тенденции к расподоблению (любопытен тот факт, что дирекция берлинского телефонного управления изменила звучание числительного zwei на zwoi, чтобы избежать смешения с drei). Однако в различных языках у стоящих рядом числительных преобладает противоположная, ассимилятивная тенденция. Так, русский язык обнаруживает в пределах каждой пары названий цифр частичное сближение, например, семь — восемь, девять — десять. Сходство означаемых соседних числительных приводит к их формальной близости.

Новообразования типа slithy «скользкий» (перен.) из slimy «скользкий; подобострастный.» и lithe «гибкий; говорчивый» и многочисленные виды смешений и контаминированных форм вскрывают взаимное сцепление простых слов, приводящее к тесному взаимодействию их означающих и означаемых.

В цитированной выше работе Д.Л. Болингдера показывается «огромная важность взаимодействий» между звуком и значением и «объединение слов, имеющих похожие значения в соединении с похожими звуками», независимо от происхождения таких группировок (например, bash «ударять», mash «разваливать», smash «разбивать вдребезги», crash «рушиться с грохотом», dash «швырнуть», lash «хлестнуть», hash «рубить», rash «бросаться», brash «ломать», clash «сталкивать», trash «отбросы», plash «плескаться», «плавать», splash «брьзгать», flash «мелькнуть»). Такие слова смыкаются со звукораздражительными словами, для синхронного анализа которых генетические вопросы опять-таки совершенно несущественны.

Парономазия (паронимия), или смысловое сближение фонологически сходных слов, независимо от их этимологической связанности, играет значительную роль в жизни языка. Апофония гласных подчеркивает каламбурный характер заголовка журнальной статьи: «Многосторонние усилия или многосторонний фарс?» («Multilateral Force or Farce?»). В русской пословице *Сила солому ломит* связь между сказуемым *ломит* и дополнением *солому* подчеркивается тем, что корень *лом-*озвучен с корнем *солом-*, фонема [л] в соседстве с ударной гласной объединяет все три члена предложения; оба гласных подлежащего *сила* повторены в том же порядке в дополнении, которое, так сказать, синтезирует фонемную отделку начального и конечного слов пословицы. И все же на обычном, лексическом уровне взаимодействие звука и значения носит скрытый, виртуальный характер, тогда как в синтаксисе и морфологии (равно как в словоизменении и в словообразовании) внутреннее, диаграммное соответствие между означающим и означаемым очевидно и обязательно.

Частичное сходство двух означаемых может быть выражено частичным сходством означающих, как в рассмотренных выше примерах, или полным тождеством означающих, как это бывает при лексических тропах. Слово *star* «звезда» означает либо «сияющее небесное тело», либо «выдающийся человек». Характерной особенностью таких асимметричных пар является иерархия двух значений: одно из них — первичное, центральное, собственное, не зависящее от контекста, другое — вторичное, периферийное, переносное, контекстуальное. Метафора (или метонимия) состоит в приписывании некоторого означающего вторичному означаемому, ассоциируемому с первичным означаемым по сходству (или по смежности).

Грамматические чередования в корнях приводят нас снова в область регулярных грамматических процессов. Выбор чередующихся фонем может быть чисто условным, как, например, использование передних гласных в «умлаутных» формах множественного числа в идише, приводимых Сепиром: *tog* «день» — *teg* «дни», *fus* «нога» — *fis* «ноги» и т. д. Существуют, однако, примеры аналогичных грамматических «диаграмм» с явно иконическим значением самих альтернатив, как, скажем, частичная или полная редупликация корня в плуральных, итеративных, дуративных или аугментативных формах различных африканских и американских языков. В баскских диалектах палатализация, повышающая тональность согласных, передает идею уменьшения. Замещение низких периферийных гласных или согласных высокими непериферийными, компактными — диффузными, непрерывными согласными — прерванными и неабruptивными — abruptивными (глотализованными), используемое в ряде американских языков «для добавления к значению слова идеи малости», и обратная подстановка для выражения увеличительной, интенсивной степени — все это основано на скрытой синестетической значимости, присущей некоторым фонемным противопоставлениям. Эта значимость, легко обнаруживаемая тестами и экспериментами по восприятию звуков и особенно заметная в детской речи, может создавать шкалу «уменьшительных» и «увеличительных» значений, противопоставленных нейтральному. Наличие низкой или высокой фонемы в корне слова в языке дакота или чинук само по себе не сигнализирует о более высокой или более низкой степени интенсивности, в то время как сосуществование двух чередующихся звуковых форм одного и того же корня создает диагностический параллелизм между оппозициями двух тональных уровней в означающих и двух градуирующих значений в соответствующих означаемых.

Автономная иконическая значимость фонемных оппозиций, если не считать относительно редких случаев ее грамматического использования, реже проявляется в чисто фактографических сообщениях, чем в поэтическом языке, в котором она становится особенно явственной. Изумительно чуткий к звуковой фактуре языка Стефан Малларме отмечал в своем эссе «Кризис стиха» («*Crise de vers*»), что слово *ombre* «тень» и в самом деле является тенистым, а *ténèbres* «мрак» (с его высокими гласными) не предполагает темноты, и он чувствовал себя глубоко обманутым тем, что значение «день»

ошибочно приписано слову *jour*, а значение «ночь» — слову *nuit* вопреки темной окраске первого и светлой окраске второго слова. Однако стих, как утверждает поэт, «восполняет дефект языков» (*rémunère le défaut des langues*). Внимательный разбор ночных и дневных образов во французской поэзии показывает, как затемняется слово *nuit* и придается яркость слову *jour*, когда первое окружено контекстом низких и бемольных гласных, а второе растворено в последовательности высоких фонем. Даже в обычной речи, как заметил Стефан Ульманн, соответствующее звуковое окружение может усилить экспрессивное качество слова. Если распределение гласных между латинскими словами *dies* и *пох* или между чешскими *den* и *пос* отвечает поэтическому ощущению контрастов светотени, то французская поэзия драпирует «противоречащие» вокабулы или заменяет образцы дневного света и ночной темноты контрастом тяжелого, душного дня и легкой ночи, так как этот контраст поддерживается другой синестетической коннотацией, связывающей низкую тональность периферийных фонем с тяжестью и, соответственно, высокую тональность непериферийных фонем с легким весом.

Впечатляющее воздействие звуковой фактуры проявляется в поэтическом языке в двух направлениях: в выборе и в группировке фонем и их составляющих; эти два выразительных фактора, навевающих образы, хотя и скрыты, но присутствуют и в нашем обычном речевом поведении.

Заключительная глава романа Жюля Ромена «Детская любовь» («Les amours enfantines») называется «Шумы улицы Реомюр» («Rumeur de la rue Reaumur»). Писатель говорит о названий этой парижской улицы, что она напоминает песню колес и стен и разные другие виды городского шума, вибрации и грохота. Эти мотивы, слитые в книге с темой приливов и отливов, воплощены в звуковом рисунке *rue Reaumur*. Из согласных фонем в это название входят только сонорные; последовательность состоит из четырех сонорных (*S*) и четырех гласных (*V*); *SVSV*, — *VSVS*, — зеркальная симметрия с группой *gi* в начале и ее перестановкой *ig* в конце. Начальный и конечный слоги названия трижды отражаются словесным окружением: *tue Reaumur, ru-meur, roues . . . murailles, trépidation d'immeubles*, [«шум, колеса . . . стены, дрожание зданий»]. Гласные выделенных слогов обнаруживают три оппозиции фонем: 1) низкие (задние) — высокие (передние); 2) бемольные (лабиализованные) — небемольные (нелабиализованные); 3) диффузные (закрытые) — недиффузные, (открытые):

ru ré

au mir

rou mir

ré men

Низкие

Бемольные

Диффузные

Искусное переплетение одинаковых и контрастных признаков в этой «песне колес и стен», подсказанное банальным уличным названием, дает

решающий ответ на провозглашенное Александром Попом требование: «Звук должен быть откликом смысла».

Постулируя два изначальных языковых свойства — произвольность знака и линейность означающего, — Соссюр приписывал им обоим одинаково фундаментальную важность. Он полагал, что, если эти законы верны, они будут иметь «неисчислимые последствия» и определят «весь механизм языка». Однако система диаграмматизаций, явная и обязательная для всей синтаксической и морфологической системы языка, но существующая в латентном и виртуальном виде и в его лексическом аспекте, разрушает догму Соссюра о произвольности, в то время как второй из его «общих принципов» — линейность означающего — был поколеблен разложением фонем на различные признаки. Устранение этих основных положений требует в свою очередь пересмотра и выведенных из них заключений.

Таким образом, наглядная и ясная идея Пирса, что «символ может представлять собой иконический знак или (перепишем этот союз в современном стиле: и/или) индекс», ставит перед наукой о языке новые, насущные задачи и открывает перед ней многообещающие перспективы. Указания этого «проводника в семиотике» влекут за собой важные последствия для лингвистической теории и практики. Иконические и индексальные составляющие языкового знака слишком часто недооценивались и даже вовсе не принимались во внимание; с другой стороны, преимущественно символический характер языка и вытекающее отсюда кардинальное отличие его от других, главным образом индексальных или иконических, систем знаков также ожидает должного учета в современной лингвистической методологии.

Свое любимое изречение Пирс взял из «Метаэтики» Джона Солсбериjsкого: *Nominantur singularia, sed universalia significantur* «Единичное называется, а общее означивается». Как много пустой и тривиальной полемики избежали бы ученые, изучающие естественный язык как систему, если бы овладели «Умозрительной грамматикой» Пирса, и особенно ее тезисом, что «истинный символ — это символ, который имеет общее значение», и что в свою очередь это значение «может быть только символом», поскольку *omne sym-bolum de symbolo* «Всякий символ — о символе». Символ не только не способен обозначать какую-либо отдельную вещь, а обязательно «обозначает род вещи», но «он и сам является родом, а не отдельной вещью». Символ, например слово, является «общим правилом», которое получает значение только через разные случаи его применения, а именно через произнесенные или написанные — носящие вещный характер — *replicas*. Как бы ни видоизменялись эти воплощения слова, оно остается во всех случаях «одним и тем же словом».

Знаки, носящие преимущественно символический характер, — это единственные знаки, которые благодаря тому, что обладают общим значением, способны образовывать суждения, тогда как «иконические знаки и индексы ничего не утверждают». В одной из посмертных работ Чарльза

Пирса — книге «Экзистенциальные графы», имеющей подзаголовок «Мой шедевр», — завершается анализ и классификация знаков, сопровождаемые кратким обобщением, касающимся творческой способности (*enérgeia*) языка: «Итак, способ существования символа отличается от способа существования иконического знака и индекса. Бытие иконического знака принадлежит прошлому опыту. Он существует только как образ в памяти. Индекс существует в настоящем опыте. Бытие символа состоит в том реальном факте, что нечто определенно будет воспринято, если будут удовлетворены некоторые условия, а именно если символ окажет влияние на мысль и поведение его интерпретатора. Каждое слово есть символ. Каждое предложение — символ. Каждая книга — символ... Ценность символа в том, что он служит для придания рациональности мысли и поведению и позволяет нам предсказывать будущее». Философ многократно возвращался к этой идеи: индексальному *hie et nunc* «здесь и сейчас» он настойчиво противопоставлял «общий закон», лежащий в основе любого символа: «Все истинно общее относится к неопределенному будущему, потому что прошлое содержит только некоторое множество таких случаев, которые уже произошли. Прошлое есть действительный факт. Но общее правило не может быть реализовано полностью. Это потенциальность; и его способ существования — *esse in future* "быть в будущем"». Здесь мысль американского логика пересекается с предвидением Велимира Хлебникова, самого своеобразного поэта нашего столетия, который в комментарии к собственным произведениям (1919г.) писал: «Я осознал, что родина творчества — в будущем; оттуда веет ветер богов слова»
